ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ

ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ
“ДЕНЬ ЛИТЕРАТУРЫ”
ОБЪЕДИНЁННЫЙ КАТАЛОГ
“ГАЗЕТЫ И ЖУРНАЛЫ РОССИИ...”
ИНДЕКС: 26260.
ИНТЕРНЕТ: denlit.ru

вах сказали, что случилось это за Александровкой. Как раз там русские пацаны рыли окопы, готовились к новой бойне: в это время шла война в Афганистане, а впереди была Чечня.

Вот и всё. Я знал, что кости в ящике точно партизана, пережившего свою смерть в леднике ровно на один год, и боялся подойти к ним: правая бедренная кость на месте сращения должна быть с мозолистым костяным наплывом.

Ящик стоял в углу. Я не мог поднять крышку и выглянул в окно: народу – видимо-невидимо.

Председатель решительным шагом вошёл в кабинет.

– Начинаем! – поправил галстук и одёрнул костюм.

– Погоди! Здесь врач есть?

Председатель изумлённо посмотрел на меня:

– Есть. А зачем?

– Как же. Врач должен зафиксировать, что кости действительно человеческие, и здесь, в кабинете, в присутствии комиссии сделать заключение.

Прямо на площади была избрана комиссия. Гробовая тишина владела людьми.

Врач по специальности оказался травматологом. Он, видно было, глубоко прочувствовал важность момента и внимательно стал рассматривать череп, таз, кости рук, ног.

Председатель с важным видом оглядывал членов комиссии, хотя всем и так ясно было, что перед нами полное содержание человеческого скелета.

Врач писал заключение и говорил:

– Судя по тазу, мужчина. По зубам – молодой.

Кости лежали на красной скатерти. Я взял в руки череп.

Перед глазами встал образ похожего на отца человека. Он жил, дышал, работал. Наверное, очень любил Марию. Переживал, что хромой, как и брат его, и недостоин красоты жены. Знал, вышла за него из-за страха одиночества, из-за горя от потери любимого и отсутствия выбора.

Мария, что ж ты не исповедовалась Ивану, когда Степан вернулся. Может, муж понял бы и простил, и ушёл сам. Всё сложилось бы по-другому.

А так не оставил дядя Иван ни сына, ни дочери – ничего, а только бросил зловещую тень на род наш.

В детстве, когда пацаны меня дразнили и оттого, что отец сидел в тюрьме, кричали: "тюремщик", я жестоко дрался. Почти всегда побеждал не силой и уменьем, а яростью. Мать побитого кричала на всю улицу:

– Ты и есть тюремщик. Отец из тюрьмы не вылезал, а дядя топором человека зарубил.

Я, утирая красные сопли, грозил кулаком, бежал к матери и начинал у неё выспрашивать про дядю и топор. Она долго отнекивалась, а когда получили бумажку с печатью о реабилитации отца, всё рассказала.

– Многочисленный осколочный перелом правой бедренной кости. Сращение неправильное. Человек сильно хромал, – перебил мои мысли голос врача.

"Как же он хотел убежать от вооружённых молодых мужиков, – в ответ подумал я. – Да никуда он не бежал. Мариины братья его, конечно же, порешили".

– Убит выстрелами в спину, шею и голову, – дописал врач и поставил точку.

Я заглянул через пулевое отверстие внутрь черепа. В нём когда-то пульсировал мозг. Мозг, конечно же, не мог вообразить, что его коробку через 65 лет будет держать в руках тогда ещё не существующий племянник.

Я приложился губами к отверстию в затылке и дунул – воздух с шумом вылетел из глазниц. Члены комиссии ошалело оглянулись.

– Торжественный митинг, посвящённый захоронению останков героя гражданской войны, объявляется открытым, – прокричал председатель.

Как и положено, были выступающие. Рьяно выступал редактор районной газеты "Путь Октября":

– Оголтелая банда наймитов Антанты рвалась к Москве...

Редактор не любил меня. Я платил ему тем же. Он всегда сидел в президиумах и, как участник партизанского сопротивления на Украине, выступал на всех собраниях и митингах, нацепив на грудь множество побрякушек, среди которых не было ни одной боевой награды. Никто не знал, почему он из Киева уехал в далёкий Северный Казахстан.

– ...Кровожадный Колчак... – гремел редактор.

"Боже мой, – думал я. – Расстреляна царская семья. Ну, царь – чёрт с ним. Да и не царь он вовсе. Так, тряпка, раз народ бросил. Эх! Был бы Пётр. Но история частицу "бы" не приемлет. Было то, что было. Есть то, что есть. И будет то, что будет. А может, зная то, что было и есть, можно сделать желаемое будущее?"

Мысли прыгнули: "Даже царевича не жалко – наследник всё-таки. А дочери! Невесты! Красавицы! Им детей рожать, а не гнить в могилах. За них нет прощения... У, красная сволочь!".

Я вздрогнул, оглянулся кругом. Лица были торжественны и суровы.

– ...Но доблестная Красная Армия... – кричал редактор.

Однажды я спросил у него, в каком партизанском отряде он доблестно сражался и кто был командиром отряда. Редактор испугался, потом спохватился и спросил в ответ:

– А ты что – прокурор?

– Ты довыступаешься до того, что этот вопрос задаст тебе настоящий прокурор.

После этого наши отношения совсем испортились, и моя фамилия стала часто появляться в газете, разумеется, в разделе критики.

Митинг закончился. Подкоп под обелиск выстлали той самой красной скатертью, опустили в него ящик и засыпали яму землёй.

Где они, красные?

Где они, белые? Нет ни тех, ни других. Для чего так беспощадно истребляли друг друга и проливали реки крови?

А сколько злобы, зависти, ненависти сейчас?!

То правые, то левые, то центровые. Сам чёрт не разберёт. Как в хоккейной команде. Но там – чтобы выиграть. Здесь – проиграть. И никто не хочет брать в руки веник, чтобы сделать улицы чистыми. Все тянутся к винтовкам.

Но где-то же есть она, русская правда?

Мать тогда была жива. Я ей рассказал про скелет и похороны дяди Ивана и добавил:

– Мам, может рассказать всем?

Она долго думала, потом трижды перекрестилась и сказала:

– Ня нада. Царство яму нябесное.

* * *

В сердце – от страха и боли усталом –
На совести жарких поленьях
Вдруг отливается звонким металлом:
Сопротивленье, сопротивленье!
Язык – наждаком по сухому нёбу,
От жажды доходишь до исступленья,
Но мы не позволим нас сделать амёбами!
Сопротивленье, сопротивленье.
Пусть мы голодаем, пусть труден наш путь,
Но воздух свободы для нас – упоенье.
Его мы вдыхаем на полную грудь,
А выдыхаем сопротивленье!

* * *

В груде развалин, пыли и щебёнке
Лежал медвежонок – игрушка ребёнка.
Лежал сиротливо с оторванной лапой,
Кровью хозяйки обильно заляпан.
Ночью бессонной в кроватке устало
Его своим телом от бомбы спасала…
Что же творим мы, сучии дети,
Что позволяем разбой на планете?
Где же казацкая наша закваска?
Стелемся всюду болотною ряской
И предаём своих братьев по вере.
Кто же нам после сможет поверить?
Смотрим завистливо, жадно и гадко –
Что у соседа припрятано в кадке?
Холопы так любят болтать про свободу,
Но дуют при том на холодную воду.
Свобода не ляжет подарком к ногам.
Нам долго бродить по пескам и горам,
Выдавливать яд, что копился веками,
Отплевывать рабство смачными плевками…
Лишь тот, кто претерпит духовные роды,
Достоин свободы. Достоин свободы.

Сергей КАЩЕНКО, *Краснодон*

Рассказ

Род Выпряжкина

Сергей ШАРГУНОВ

У него были тёмные, жёсткие волосы и благородная смугло-бледная кожа; на лице красовались задорные родинки, как чаинки поверх чая с молоком.

Его звали Василием, а фамилия была будто с нервным изломом посередине – Выпряжкин. Недавно отметил день рождения. Гуляли узкой компанией в городском ресторане "Бакс". Статный, немного остекленев, с жаркими, распахнутыми глазами и растянутой улыбкой – ровными рядами крупные зубы – встал над столом, и рука взмыла со стопкой: "Двадцать девять… Кто виноват и что с этим делать?". Кудлатый приятель загорланил: "Любо!", Василий отмахнулся, водка пролилась в горшочек с дымной свининой. "Эй, ты что, ты что, ау!", – зазвенела жена Таня, запрокинувшись к нему, такая же черноглазая, как и он, вся такая живая.

Автомойку в посёлке Каменоломни он открыл меньше года назад. Жил рядом в Шахтах в пятиэтажке с видом на реку Грушевку, то исчезавшую в камышах, то оживавшую по весне.

Мартовским днём – через три дня после дня рождения – появились они. Помощник позвал его: "Тут… тебя… эти…". Димка, скуластый малой, доставшийся от прежнего хозяина, был весь – прилежание: стремительно обмывал машины из шланга, скоблил салоны, вытряхивал коврики, и всегда, даже не занятой, имел запыхавшийся видок и голосок. Автомойку передал Василию полгода назад двоюродный Танин брат Костян. Садился за большую, с жертвой, драку – и доверил.

– Ну?

Перед ним стояли двое. Молча. Тугие. Оба похожие на боксёрскую перчатку. Один белёсый – бритая башка, другой чернявый, с хохолком. Несвежие лица, чёрные кожанки. Сам их облик выражал напор.

Димка видел, как короткими жестами, не прикасаясь, но, словно бы и ударяя, они направили Василия к своей чёрной машине, похожей тоже на огромную перчатку боксёра, и Василий нехотя, но всё-таки сделал туда шаги.

Они что-то говорили, отрывисто, судя по лицам, а Василий, возвышаясь, не отвечал, кривя щёку. Потом он дёрнул плечом, одновременно что-то ответил, и все расстались. Василий вернулся, раздумчиво поигрывая плечами. А двое вскочили в чёрную машину, затем из окна тот, который чёрный, резко, как бы ободряюще прикрикнул: "Будь готов!". И умчали.

– Не наши? – Димка ловил его взгляд.

– Один не, а другой вроде. Хохол, может…

– Оба, значит, не наши. Гастролёры на…

Василий мелко сплюнул. Димка спросил:

– Чё хотели?

Василий был растерян и спрашивал Димку: как всё это надо понимать. Всё было грубо и плоско до той тошной сонливости, будто его уже ударили по голове. Не хотелось думать, чего они хотели. Они хотели бабла. Завтра. И не позднее. Они, точно бы родившиеся в чёртовых кожанках, и их допотопный накат – всё было из вечернего сериала по телевизору, но было с ним, сейчас, в его городе, откуда он уехал в Новочеркасск, и куда, выучившись на юриста, вернулся, не найдя ничего, где женился на девчонке из соседнего двора, которая родила ему сына, где работал в фирме за копейки, и где решил заняться автомойкой, чтобы поднять бабла. Жизнь Василия была, наверно, не особенно затейлива, поэтому не стоило удивляться простоте, с которой хотели отжать у него бабло. И он вслух обдумывал и сам же вслух понимал, что всё отправляется к чертям собачьим – юридические познания, мужество, твёрдость, самооборона, зэк Костян, местные знакомства, гостей-то в родных Шахтах больше, чем когда-то шахтёров. Его зароют, и никто не вспомнит, прямо, как в кино. Димка с бранью и вздохами заговорил про своего корешка-мента, тот учит: с бандитами проще ладить; если в ментовку сунешься, ещё хуже тебе будет.

Раньше Выпряжкины с Костяном созванивались, списывались в "Одноклассниках", у зэка была мобила с выходом в интернет, но недавно Костян поссорился с лагерным начальством, поместили в штрафной изолятор, ждать неделю связи. Не у кого просить совета. Друзей особо в городе не водилось, а те, что есть, - только выпить и поржать умельцы.

– И чё ты им сказал? – спросил помощник, всё ещё ловя его взгляд.

– Сказал: "Понял".

– Как?

– "Понял". Чё я мог сказать? Иди, вон тачка приехала, работай давай, иди, – Василий вдруг разозлился.

Он знал немало про свой род – из отцовских рассказов, которые не любил вспоминать.

Он был потомственный казак, и Таня его была казачка, они об этом не говорили между собой, и портреты с шашками и в бурках не висели у них на стенах. На антресолях в старом сломанном рыжем чемодане валялись два альбома. Их не доставали, и неизвестно: действительно, они там валялись или куда-нибудь ещё подевались. Жена, видимо, подражала мужу, а Василий переел в детстве пышных, под хмельком разговоров о славном и воскресающем казачестве, и ранняя смерть родных навсегда была связана с этими полуночными разговорами о загадочных оскаленных мужиках верхом на ржущих конях. Парни и мужики на конях казались Василию грубыми дикарями, гопниками из другой эпохи, никак не применимыми к нынешнему миру, он стыдился того, как в детстве от чистого сердца поддался отцу, надевал синий кафтан, подпоясывался, и во взрослом застолье тонко затягивал: "Не для меня-а…". Хотелось нормальной человеческой удачи. Выпряжкина тяготила даже фамилия, казавшаяся нелепой, и как-то неприятно связанная с пыльными конями и их громким ржаньем.

Он не собирался держать в памяти слышанное от отца. Но деть никуда не мог. То и дело мысли расплывались, как тёмные облака, и в памяти, как крупицы звёзд, резко сверкали эти истории.

Ни коней, ни кобыл в их жизни не водилось, разве у Василия в юности, перед армией появился мопед, но присловья он хорошенько запомнил, старомодные и пылкие, например: "Конь – душа казака" или "Конь и воду возит, и воеводу", и выражения прицепились, на все случаи: "быть в стремени", "гулять конём", "бегать конём", "не в седле", "наехать конём", "морда – конём не объедешь" (почему не джипом?). Отец со своими рассказами крепко ему въелся в холку, подзамучил, но не вытравишь, и теперь при мысли о бандитах к Василию само собой пришло тоскливое: "Да-а, поведут меня за ноздри".

Историю рода отец изучил дотошно. Он сыпал датами, именами, судьбами, которые, хоть и перемешались, хранились в памяти Василия.

Город просто названный Шахты накануне революции назывался нежно Александровск-Грушевский, а три брата и их батько или тату, целый есаул, Харитон Петрович Выпряжкин жили не в городе, а на хуторе Пухляковском, бывшем Собачинском, на границе станицы Раздорской. Пасли скот, выращивали хлеб, наказывали воров и трусов. Каждый имел разнообразное оружие, сызмальства отлично им владея. Жена Харитона незадолго до его сватовства, гадая, узнала, что суженый её – годный человек, при хозяйстве, по счёту выбрав кол в тыне: кол оказался с корой, не голый. Главная помощница казака – Богородица, она являлась в этих краях, воздушная, серебристо-лазоревая, а всё же верили и в приметы. Харитон после свадьбы в изголовье повесил шашку, под подушку молодой жене пули подкладывал. И трижды рождались сыновья. Не успевал у мальчика показаться первый зуб, Харитон поднимал сына, сажал на коня, и даже чубчик ножницами укорачивал.

Дон казачий всегда окружали враги, племена другой веры, отовсюду резали в кровь острые осколки Золотой Орды… Близко стоял Азов, в старину – турецкая крепость. В Раздорской речные сложности все были поименованы: вон "Алёнкин брод", вон "Сонина коса" – в память девчонок, которые бежали из турецкого плена, едва живые, и утонули, не доплыв до своих. Потом стало тише, но здесь никогда покоя не было – казаки постоянно уходили в походы. Многое переняли от враждебных соседей – суровость, гордость, и одновременно широкую щедрость гостеприимства. И страсть – прадед Харитона, как какой-нибудь черкес, украл невесту и умчал с ней на дальний хутор.

Харитон Петрович умер за год до революции совсем не старым, продуло насквозь на коварном речном ветру ранней весны. Революция принесла смятение. Никто не хотел рубить своих, и не рубили бы: затянуло, опьянило незаметно – за бедой беда. Вроде собрали казаки Войсковое правительство, а оно перегрызлось. Стали теснить "иногородние", не станичники, голодные: солдаты, беднота, бандиты, какое тут гостеприимство… Головы кружило всем, и всё быстрее и быстрее. Младший брат Выпряжкин сорвался в Петроград, на съезд Советов, – посмотреть; когда вернулся, попал под арест к атаману Каледину. За него попросил старший брат, освободили, но он в Питере уже наглотался "идей". А дальше началась полная неразбериха, всё гуще кровавя Дон: добровольческая армия, наступления и отступления, Алексеев, Корнилов, Антонов-Овсеенко, застрелился Каледин, восстания, изуверства, конные атаки, Краснов, Германия пришла, Будённый… Младший Выпряжкин зимой 18-го вошёл в военно-революционный комитет в станице Каменской, оба его брата к тому времени воевали за белых. Поговаривали, это он арестовал Митрофана Богаевского, уважаемого казака, умного, в очках, которого застрелил хромой коммунист Яшка Антонов, сын старого полковника. Старший Выпряжкин между тем на бронепоезде "Ермак" прорвался в тыл красных, взял в плен младшего, но отпустил, второй раз спас, получается, от расстрела. После победы красных этот старший бежал, будто бы долго скрывался на Кавказе, оттуда, по молве, ушёл в киргизские степи – в общем, след его простыл. Меньшого большевика всё равно пуля нашла: был тяжело ранен в бою под деревней Желновка, и, пролежав месяц, умер. А среднего порубили вместе с белой конницей Павлова во встречном сражении, где обнажились враз двадцать пять тысяч сабель. Порубили не до конца, выжил и всю жизнь скрывал прошлое, счастливо избежав кары. Он воевал в Отечественную, дважды ранило – под Псковом и в Вене, выжил, а умер почтенным ветераном в конце 70-х в своей квартире в Шахтах. Вот он-то, Михаил Харитонович Выпряжкин, и был дедом Василия, который посреди прохладного сентября 2013-го года переживал сейчас в Шахтах наезд "иногородних".

Павел Михайлович Выпряжкин был добросовестным инженером на заводе "Гидропривод", подписчиком множества журналов и газет. Как потом вспоминал, прочитал статью в одном издании, затем в другом – про кошмары рассказачивания, про забвение корней, про голос крови – и понял: если не я, то никто. Жена, Галина Алексеевна, даром, что учительница младших классов и не казачка, изготовила красные шаровары, остальное было делом техники – даже шапка, с круглым высоким околышем. Пару раз он походил так перед домашними (маленький Вася бегал за ним и хохотал, и всё выглядело праздничной шуткой), другой раз, когда брат приехал из Астрахани: "Вот, Николай, смотри и учись! Это наш вид настоящий!" – "Без шашки непорядок!" – добродушно усмехнулся родственник.

Сначала Павел стал просто ходить в сапогах – на людях. "Пускай пока сапоги, сам привыкаю и других приучаю", – говорил он жене. И усы отпустил. Потом он познакомился где-то с Валерием Ивановичем, тоже в сапогах, волосатое лицо, пористый нос-огурец, чуть ли не по сапогам признали друг друга в трамвае и разговорились, тот в гости стал приходить, подарил отксеренный песенник "Русская казачья", изданный в Аргентине, засиживались допоздна, пели, как-то все вместе поехали в станицу Раздорскую, жена Валерия Ивановича, круглая блондинка, была за рулём "жигулёнка", жгли костёр, и Васю отец подсадил на худого коричневого коня, который без присмотра пасся в высокой траве на берегу, а взрослые обступили: кто придерживал мальчика, кто животное.

Новая жизнь прибывала стремительным паводком. "Мне отец последние годы столько порассказал! Болван я был, не ценил! – сокрушался Павел. – Голова помнит, а сердце только сейчас ожило!". Он стал чаще ездить в Раздорскую, отыскал след родового куреня на хуторе, списывался с кем-то, в то время как вспомнивших о своём казачестве вокруг делалось всё больше. Пришла пора – надеть красные шаровары.

– На остановке стою, – рассказывал он за ужином, довольный. – Девушка спрашивает: "Ой, чего это они у вас такие интересные?" – "Казак", – говорю. Люди приглядываются. Один старичок завозмущался: "Безобразие! В милицию бы сдать!". Тут гражданин в плаще сразу его заткнул: "Кончилось ваше время, стукачи!". А я народу объясняю, просто митинг какой-то собрал: "Так наши предки носили, – говорю. – Ничего особенного, это вам кажется, что необычно. Скоро привыкнете!". Хлопали… Руку пожимали…

Впрочем, быстро устав от внимания улицы, он стал одеваться, как прежде, лишь сапоги оставил, а казачью форму, правильную (шаровары были синие с красными лампасами), похожую на военную и почему-то пахнувшую дегтярным мылом, выдали ему вместе с шашкой, нагайкой и ремнями в Новочеркасске, куда ездил на круг, сначала дали для круга, после ещё раз съездил, и выкупил. "У нас – армия своя, считай! – говорил он хвастливо по телефону брату. – Не в курсе? Много потерял! Всевеликое Войско Донское!". Как-то он взял в Новочеркасск Васю, и тот пел среди застолья, встав на лавку, видя вокруг усы, бороды, погоны, яркие цвета…

Мальчику было восемь, когда отец рассорился с Валерием Ивановичем, о чём рассказывал с охотой: "Предатель в одном – предатель во всём, сначала жену молодую нашёл, а теперь этикетки штампует, на бутылки клеит, ликёр называется. Аферист, правильно я говорю?". Больше казаков себе по духу он в городе не находил, а жившие в Раздорах что-то его чуждались. Тогда же он лишился работы – сократили – и домашние расходы легли на Галину, получавшую в школе совсем немного. Потеря работы заострила интерес Павла к казачьей роковой доле, он стал заглядываться в бутылку и мечтать о походах. Возможно, в нём пробудился настоящий казак. То он был весел и забавен, то делался молчаливым. Выписывал он теперь всего одно издание – почему-то московскую газету "Литературная Россия", которую мял на столе, крутил, вертел, разворачивал, перечитывал, одновременно нагружая бутылкой, стаканом, обрезками колбасы, или засыпая кусочками сухой рыбы: "Вон, казаченьки, в Сербию подались, за народ православный со всем миром бодаются", ночью он долго, покашливая, отряхивал газету в мусорное ведро, аккуратно складывал, относил в комнату, и клал поверх стопки других номеров. Пил он негромко, правда, любил допоздна просвещать сына: "Ты гля, че написано: в Приднестровье война идёт. И там казаки! Вот это я понимаю: это казаки!". Вася сам любил босыми ножками прошлёпать ночью на кухню… "Ему завтра в школу, ты обалдел? – врывалась мать. Обычно безропотная, она от раза к разу становилась злее. – На войну собрался! Езжай сейчас прям, надоел, не могу!".

И отец уехал. С кем-то созвонился из Новочеркасска, всё держал в тайне, и однажды на

рассвете перед зеркалом в прихожей левой рукой дёрнул книзу оба уса, в правой держа рыжий, тогда ещё не поломанный, но уже облезлый чемодан, и пахнул кислым духом на испуганную жену, в ночнушке выскочившую к нему: "Пашка, ты чего?" – "Чё заказывала!"…

Он отсутствовал десять дней, которых ему хватило на десять лет рассказов. Добирался до Бендер с трудом, там рыли окопы, в атаку ходил "на румын", стрелял из "калаша", видел много трупов, среди них – детские, видел снайпершу, которую тащили на допрос, – "морда, как у мужика, конём не объедешь", при нём рикошетом убили казака из-под Барнаула, рыл могилы.

Или этот поход, или все вместе, или ещё одна последовавшая отлучка – что-то начисто поменяло Галину. Она стала заводиться с полуслова, розовела и дрожала вся, закипая на невидимом огне, и кричала – страшно, прощально. "Как резаная", – определял Павел.

В сентябре 93-го, следивший внимательно за событиями в Москве, он сначала пробовал добиться одобрения из Новочеркасска, потом, не получив ясного ответа, написал в любимую газету: "Пишет вам опытный воин, прошедший горнило Приднестровья. Вы сообщали, что обороняют Дом Советов сотник Морозов и его казачья застава. В тяжкие для Родины дни и часы восстания рад послужить Отечеству, но не имею средств, прошу помочь в прибытии в столицу". Его отправили в шахтинский горком коммунистической рабочей партии, и, помявшись ("Дожил"), он отправился в сырой подвал с горячими трубами, и потным красным флагом на стене, откуда прямиком на вокзал.

В Москву он доехал, когда всё закончилось, Белый Дом тлел, почерневший и оцепленный, Москва пила пиво и лизала мороженое, будто ничего и не было, а сотник Морозов, простреленный из пулемёта, лежал в Склифе.

Весной 94-го мать увезли в больницу с инфарктом, где она и умерла. Вася в одиннадцать лет остался на отце. Тот устроился сторожем в "загон" – на дискотеку в парке. Несколько раз попадал в драки, разнимая посетителей или выталкивая. Город дичал и беднел, шахты закрывались одна за другой.

В девяносто девятом году тёмным снежным вечером в трамвае, под мухой, он повздорил с мужиком, тоже нетрезвым. Мужик скользнул взглядом по сапогам и выше, по простым ватным штанам, и пьяным наитием что-то почуял, как бы угадал подразумевавшиеся красные шаровары: "Слышь, мать твою, ты кто, такой?" – "Я казак, твою мать!" – в тон сказал Павел. – "А я шахтёр! Из-за вас, бездельников, нас дела лишили!" – "Да это вы, страну расшатали!" – "Я тебя ща расшатаю!"… Они вывалились в открывшиеся двери, в пушистый снег, обнявшись, словно пытаясь скатать огромный шар, и начали вбивать друг другу всю свою скорбь кулачищами в лица…

Скоро в городе отменили трамваи. Затем перестали ходить троллейбусы.

Отец умер в 2002-м, заснул и не проснулся, когда Василий служил в армии.

Василий был сильный, выносливый, гордый, но где-то внутри был надломлен какой-то стебелёк.

Слепая растерянность временами плескалась в его чёрных глазах, но он каменел лицом, и глаза возвращали уверенную мглу.

Он слабо учился в школе, хорошо после армии в институте, нашёл работу в Новочеркасске, вернулся в свою квартиру, с каждым годом всё меньше соображая и больше зверея от проносящихся событий: влюблённость, которую он тотчас перекрыл женитьбой, рождение ребёнка, звонкие предъявы жены на тему денег, хреновая работа, упавшая с небес автомойка, поправившая семейный бюджет, но доставившая хлопот.

Он винил отца за то, что тот умер и, конечно, за смерть мамы. Он брился начисто, каждое утро, а раньше, подростком, с волнением отслеживал, как пробиваются усики, отпускал и расчёсывал чуб.

Он сам себя расказачил. Он знать не желал своего детства. А оно не сдавалось – папины рассказы варились в его сознании, как "бабья каша", которой после Рождества повитухи угощали казачек.

Хотелось жить просто, без лишнего трёпа, и Василий старался делать движения, доведённые до автоматизма, как герой из рекламы – эталон нормальности. Он не любил понтов, и вообще, всего пустого. А пустое угрожало отовсюду, дуло из щелей. Ему постоянно казалось, что бред может вернуться, проникнуть с разговором, с песенкой, со сновидением, и разрушить его жизнь, или кто знает – жизнь Алёшки.

Виня мёртвого отца, он и жалел его, как большого ребёнка, которого не уберёг, и винил себя, что не оказался рядом, и, возможно, то, что не додал отцу, что упрямому отцу невозможно было дать, накопившись, теперь добавилось в отношение к сыну. Алёшку Василий любил безмерно.

Клиент ждал, пока помоют машину, а у ноги его курлыкал и повизгивал карапуз. Василий вышел расторопно на эти звуки. Сердце его сжалось. Услышав чужого ребёнка, он подумал о своём, и схватился за карман с "Нокией".

– Таня! Всё хорошо у вас? Чё там Лёшка?

Убьют его – осиротеет сын. Или сыну что-то сделают, не дай Бог. Или жене. Надо платить. А что скажет Костян? Наверно, скажет: никому не плати. Не поверит, что наехали, решит: деньги скрысил. Легко сказать из зоны: не плати. А попробуй на воле – отказать. Отчаянье сдавливало виски и щекотало горло.

– Папуля! Приве-е-ет! – мальчик метнулся к дверям, прилип, обнимая за колени цепкими ручками. – Идём играть! Мам, папа пришёл!

– Я слышу, – отозвалась Таня, гремя кастрюлей на кухне.

Ужинали молча, по телевизору, стоявшему на шкафу, показывали "Камеди-клаб". "Да ты ряженый!" – гаркнул блондин-пельмень. – "Сегодня все ряженые, даже мы-ы", – томно протянул другой пельмень, чернявый. Ребёнок гримасничал, набивая рот и поблёскивая очочками – близорукость. Василий взял пульт, переключил. "Плати, сука!" – один в маске держал человека за шкирку, вдавив подбородком в землю, второй в маске целился пистолетом ему в голову. Кино…

Перед сном он играл с сыном.

– Сдавайся! Ты – чечен! Я казак!

– Сам ты чечен. Стой, откуда ты это взял? Тань! Таня! – с кухни шум телевизора. – Таня!

– А?

– Зачем ты ему сказала?

– Ты злой чечен, а я казак, казак, казак, – Алёша рубил его по ногам и спине пластмассовым тупым мечом.

– Это Лермонтов! – крикнула жена. – Я ему читала, он спросил… А чё, нельзя?

– И я казак! – обернувшись к сыну, Василий оскалился, и тот засмеялся, полагая, что игра становится бодрее.

Василий смотрел в окно, и там было синее, тающее, смеркавшееся небо, он сделал шаг, ещё, выглянул: мутная и привычная текла река, готовая отразить очередную ночь и слиться с нею.

Он перевёл взгляд на сына: странная сила рода горела в этих чёрных глазках под круглыми стёклышками.

– Мы оба казаки! Давай так! – решительно сказал Василий.

– Ну, давай! – согласился мальчик радостно. – А кого рубить? Давай ту подушку! На, ещё кинжал есть!

Увлечённо, бешено они принялись бить по подушке, поднимая лёгкую пыль.

Засыпая, приобняв жену, просунув руку под её прохладной подушкой, Василий ощутил покой.

На рассвете он пробрался на кухню, встал на стул, открыл антресоли.

Там, завёрнутые в шинельное сукно, лежали шашка и карабин.